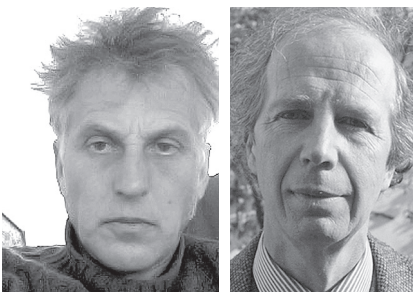


Эрнест Геллнер и проблемы заколдованных модерностей

Беседа Ричарда Маршалла с Аланом Макфарлейном

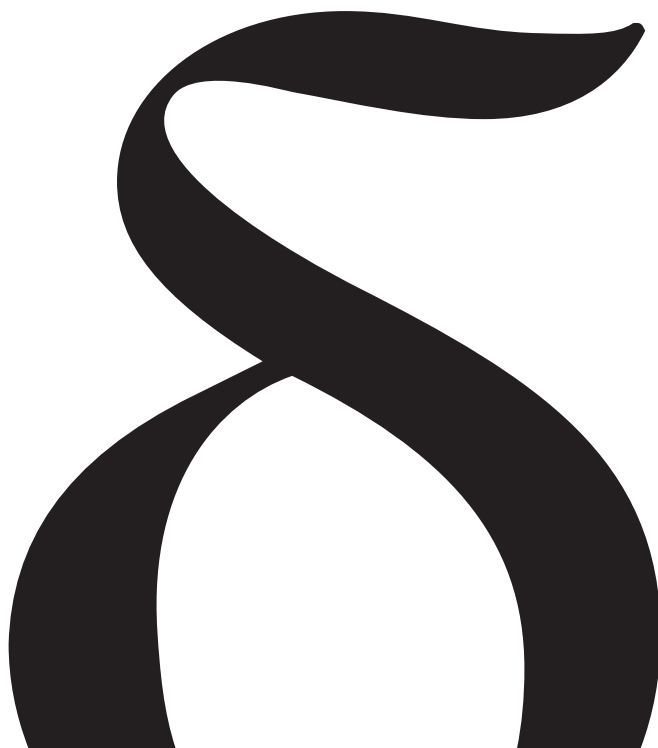


Ричард Маршалл (р. 1959) – философ, писатель, основатель и редактор философского онлайн-проекта «3:16».

Алан Макфарлейн (р. 1941) – историк и антрополог, почетный профессор Кембриджского университета.

Ричард Маршалл: Эрнест Геллнер, вероятно, последний представитель веберовского мышления: вопросы «околдованности», «расколдовывания», процесс становления «модерна». Мне попался ваш текст, в котором вы вспоминаете, как рассказывали ему, что японцы верят в духов, а он ответил, что они просто пытались вас обмануть. Он был человеком сугубо европейским, во многом его мышление определялось его чешским происхождением и контекстом «холодной войны». Он пытался ответить на вопрос, как произошло чудо модернизации, подчеркивая его случайный характер. То, что определенные факторы одновременно сошлись в одном месте, представлялось ему случайным; в этом смысле западный триумфализм ему чужд, но рождение модерна все же казалось ему чем-то исключительным. Ваши исследования можно считать контрапунктом или даже коррективом по отношению к его взглядам. Расскажите, какой вам представляется позиция Геллнера, что вам кажется в ней интересным и как нам расценивать ее сегодня.

**ИНТЕРВЬЮ
«НЗ»**



Алан Макфарлейн: Расскажу с удовольствием, потому что Эрнест был одним из двух или трех живых мыслителей, оказавших на меня большое влияние. Как и Джек Гуди¹, он возглавлял факультет, на котором я работал, и был моим близким другом. Я познакомился с ним в 1967 году в Лондонской школе экономики. Как вы уже отметили, он отличался от других преподавателей. Эрнест очень серьезно относился к простым людям. Однажды я спросил его, почему он так вежлив со мной, и он дал свой типичный ответ: «У Мюриэл Спарк в романе “Мисс Джин Броди в расцвете лет” директриса говорит своим преподавательницам в начале семестра: “Вам предстоит учить всех этих девчонок, и многие из них будут несносными. Но надо быть с ними предельно вежливыми – еще не известно, за кого они выйдут замуж”». Эрнест сказал, что разделяет эту точку зрения: «Будь вежлив со всеми – обычный человек, которого ты встретил на улице, может оказаться миллионером или человеком крайне для тебя важным». Это, конечно, секрет Кембриджа и Оксфорда: важно поддерживать хорошие отношения со студентами, потому что лет через двадцать или тридцать кто-нибудь из них может оказаться премьер-министром, а кто-нибудь другой – главой фонда Сейнсбери. Лучше не портить отношений.

Сам он был вежлив не поэтому, но его действительно отличала особая приветливость. Побеседовав со мной пару раз, он, завидев меня, всегда останавливался со словами: «Привет, Алан! Как у тебя дела?» Чтобы такой человек, как он, дал себе труд запомнить, как меня зовут!

А потом я прочитал его статью «Понятия и общество», и она стала для меня откровением. В этом тексте он рассуждает в духе Юма: разум рассматривается как набор рецепторов, наблюдающих за окружающим миром. Мы не воспринимаем мир непосредственно, а сами рецепторы меняются со временем и различаются от общества к обществу. То, что мы «видим», определяется чем-то отличным от самого видения, а разные общества «видят» по-разному. Раньше я никогда не сталкивался с подобным образом мыслей. На лекции Геллнера я, наверное, и так ходил, но после этого старался не пропускать семинаров с его участием.

Когда я уехал в Непал, мы уже дружили, и я поддерживал с ним связь. Непал его очень интересовал. Потом я вернулся в Кембридж, стал работать в Кингз-колледж, и мы возобновили нашу дружбу. Он направил ко мне своего сына Дэвида (впоследствии тот стал выдающимся антропологом), когда тому

**РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН**

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ МОДЕРНОСТЕЙ

1 Сэр Джон Гуди (1919–2015) – британский социальный антрополог, в 1973–1984 годах возглавлявший антропологическое направление в Кембридже. В ходе Второй мировой войны воевал в Африке, три года провел в немецком плену. Занимался антропологией грамотности, антропологией наследования и даже антропологией цветов и еды.



было лет 16–17, чтобы посоветоваться со мной на предмет того, стоит ли ему заниматься антропологией. Эрнест прочитал мою книгу о Непале еще в верстке и написал замечательную рецензию для «Times Literary Supplement». В дальнейшем он всегда поддерживал меня в моей работе.

Что мне особенно в нем нравилось – помимо внимательного отношения к людям (хотя вообще-то он был человек застенчивый и не особенно общительный), – так это то, что он сочетал разные дисциплины. Он был социологом, образование у него было философское, а докторская диссертация – по антропологии. Он переходил от одной дисциплины к другой – то, что я сам пытался делать.

Лектор он был замечательный. Я его сравнивал с бетономешалкой. Были две–три идеи, которые постоянно крутились у него в голове, и в какой-то момент все это опорожнялось. Он держал в голове целую библиотеку, чему есть забавное доказательство (не помню, присутствовал ли я при этом лично или мне об этом рассказали): однажды он приехал в Кембридж с лекциями – один курс из восьми лекций был по исламу и его связям с политикой, а второй, тоже из восьми лекций, – по важнейшим теориям общества. И вот он приходит на очередную лекцию (никакого текста у него при себе нет) и объявляет: «Сегодня мы поговорим об эволюционизме, функционализме, структурном функционализме, структурализме и марксизме – и об отношениях между этими теориями». По аудитории пробегают шумок, и кто-то из студентов говорит: «Простите, доктор Геллер, но это будет завтра. А сегодня у вас третья лекция по исламу и политике». Эрнест окинул взглядом аудиторию, сказал: «Минутку!» – отвернулся к стене и минутой позже снова стоял перед аудиторией, читая третью лекцию по исламу и политике. Такой он был человек.

Что еще мне в нем нравилось – так это то, что он всегда знал, в чем вопрос. Если знать правильный вопрос, ответить на него несложно. Еще Эйнштейн говорил, что главное – поставить вопросы. И Эрнест – в силу своего чешского опыта, начитанности и глубокого знания коммунистической мысли, ислама, западной философии, Юма и так далее – знал, как поставить вопрос. А вопрос был такой: «Почему случилось чудо?». Как вы и сказали, он не считал, что оно было неизбежным, он все время ломал над этим голову – но ведь оно случилось, несмотря ни на что, наперекор всему.

Снова и снова: цивилизация модерна, цивилизация разделений могла бы возникнуть; она могла возникнуть во Флоренции, могла в Венеции, могла и в исламе, а могла, как отмечает Джек Гуди, и в Ханчжоу или в Фучжоу или в южный период империи Сун и так далее.

Но она там не возникла. Что-то ее остановило, почему-то она потерпела крах, закончилась, так и не начавшись. Однако в XVII, XVIII, XIX веках, причем в одной только части света, она возникла. Почему? Эрнест постоянно задавал этот вопрос; он, например, считал свою книгу «Плуг, меч и книга: структура истории человечества» попыткой ответа на этот вопрос. Марксистская версия истории представлялась ему неубедительной, он относился к ней очень критично. Антропология прямых ответов на такого рода вопросы не дает. Историков, которые могли бы ответить, он не нашел. Ему было интересно то, чем я занимаюсь: я как минимум ставил этот вопрос, хотя мой ответ его тоже не удовлетворял.

Повторюсь, он оказал на меня огромное влияние. Но опять же с тех пор, как его не стало и я могу взглянуть на его труды уже без него, я вижу, что у него, как и у Джека Гуди, не было того преимущества, какое было у меня – возможности выйти за пределы монотеистических западных цивилизаций. Конечно, Джек работал в Африке и поэтому понимал, что Африка не то же самое, что Евразия; это он знал, он там был. Но он совсем не знал Азию, и Эрнест тоже не знал. Эрнест так и застрял внутри западного монотеизма – сюда относится и марксизм, который есть лишь версия западного монотеизма, и ислам, и так далее. Соответственно, Индия, Китай и Япония очень ему мешали, потому что он был очень рациональным, ясным, западным мыслителем.

Бардак, дуализм, квантовое мышление, бинарная нелогичность. Буддизм был бы для него анафемой. Для меня Эрнест был тем же, чем был Эйнштейн для физиков: он разрешил массу проблем в рамках рациональной, ньютоновской, бинарной, логической системы мысли, восходящей к грекам. Это и есть Эрнест до мозга костей. Но, когда Эйнштейн столкнулся с квантовой теорией, с богом, который играет в кости, это его обеспокоило, как мы знаем. Он был предан богу, который не играет в кости, он не мог принять квантовую теорию. Она расшатывала основные устои западной физики. С точки зрения Эрнеста, то же самое делала восточная мысль.

История, о которой вы упомянули, как раз это и показывает. Это очень характерная для него история. Он попросил меня рассказать ему о Японии, и, когда я спросил, в связи с чем вопрос, он ответил: «Меня пригласили прочитать лекцию в Осаке». Когда я поинтересовался, о чем будет лекция, он ответил, что о градостроительстве. Я сказал: «Эта сторона вашей интеллектуальной биографии до сих пор оставалась мне неизвестной», и он ответил: «Я ничего не смыслю в градостроительстве, эти вопросы меня вообще не интересуют, но они предложили мне такой гонорар, что я еду». Соответственно, что-то я ему

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ



рассказал, плюс он близко дружил с Рональдом Дором², который рассказал ему что-то со своей стороны.

Когда он вернулся, я спросил его о впечатлениях. И Эрнест ответил: «Тихий ужас. Еда была гениальная, все были крайне добры и очень эффективны, но с философской точки зрения – полный бардак. С ними невозможно разговаривать». Он их не слушал и, соответственно, не понял.

Он рассказывал: «Один пример. Я жил в довольно роскошном отеле, в таких отелях ты обычно выставляешь обувь за дверь, если хочешь, чтобы тебе ее почистили. Я выставил туфли наружу, пришел японец, посмотрел на них, я ему говорю: “Туфли. Я хотел бы, чтобы их начистили к утру”. Он поклонился со словами: “Хай, хай”. Но к утру туфли чище не стали». Он постоянно попадал в подобные ситуации: он, похоже, ничего не понимал.

Он говорил: «Алан, как столь богатой, сильной экономикой и сложнейшей в мире технологией можно управлять на основе лингвистической системы, в рамках которой никакой разговор невозможен?». У него даже была на этот счет своя теория: «Если прийти в штаб-квартиру “Toshiba” или другого технологического гиганта и подняться в конференц-зал, там на двери наверняка будет висеть табличка, извещающая, что за этой дверью можно рассуждать здраво и логически. Они входят в эту дверь и становятся такими же, как мы». Это, конечно, бред.

Думаю, что, если бы он оказался в Японии в более молодом возрасте, он бы приспособился. Но на этом этапе жизни ему, как и большинству западных людей, уже не хватало воображения, чтобы понять этот радикально другой мир. Нечто подобное ему удалось в Марокко, где он занимался полевыми исследованиями в Атласских горах – исследовал захоронения святых, а это отчасти магические вещи. То есть кое-что у него получалось. Но войти в совершенно иную логику, освоить древнюю философию, настолько отличную от нашей, – на это ему уже не хватило бы оставшейся жизни.

Р.М.: Необходимости расколдовывания мира для осуществления индустриализации Геллнер давал вполне себе функциональное объяснение: если ты веришь, что в реке обитают духи, ты не способен к научному изучению этой реки. Вы утверждаете, что в Японии и Китае никто так не думает. Они способны одновременно и верить в духов, и относиться к этой реке как к научному объекту. Как вы это объясняете? Мне кажется, Геллнера это озадачило бы. И, если все действительно обстоит

2 Рональд Дор (1925–2018) – британский социолог, занимавшийся устройством японской экономики и общественных связей, а также сравнительным изучением разных типов капитализма. Выпускник Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета, работал в университетах по всему миру.

так, как вы говорите, встает следующий вопрос: что происходит с шаманизмом, когда они начинают серьезно заниматься технологиями?

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ

А.М.: Я сам часто задавал себе этот вопрос, но готового ответа у меня нет. Вам наверняка известен «вопрос Нидэма»³. Биохимик по первой специальности, он впоследствии создал целый исследовательский проект «Наука и цивилизация в Китае», и вопрос, который он задавал, стоял так: почему наука получила свое развитие на Западе, а не в Китае? Примерно до 1400 года китайцы располагали всеми технологиями, и тем не менее экспериментальная наука в Китае так и не появилась. А почему не появилась?

Нидэму так и не удалось разрешить эту проблему, но у него были несколько теорий. Одна из них – нестабильность китайской философской системы: когда твой мир не отделен от внеземного, когда все вокруг тебя живое, трудно создать экспериментальную науку. Скажем, в буддизме жизнь пронизывает майя. То же самое в даосизме и так далее. Из-за этого все изменчиво. Инь и ян – это космология непрерывного сдвига: инь превращается в ян, а ян – в инь. Это квантовый мир, в котором все сразу и такое, и такое, в котором не может быть хлопка одной ладони.

Основой же экспериментальной науки является повторяемость. На Западе если ты проводишь эксперимент, то в одинаковых условиях у тебя должны получаться одинаковые результаты, что и доказывает истинность твоего эксперимента. В Китае из такой посылки исходить нельзя: там все меняется, экспериментальной науки там быть не может. Возможна наука, основанная на наблюдениях, когда какие-то вещи представляются связанными. Китайская медицина опирается на многовековые наблюдения, но экспериментально проверить эти связи нельзя. Почему нечто вызывает ту или иную болезнь или излечивает ее? Этого в эксперименте установить нельзя.

Таким образом, один из ответов, предложенных Нидэмом, состоит в том, что Запад – благодаря греческой науке и впоследствии христианскому отношению к природе – всегда верил в законы, повторяемость, единообразие. А в Китае, в восточных системах, этого нет. Можно было бы обойти эту проблему, сказав, что ни научная, ни промышленная революция в Китае невозможна, потому что там экономика пошла по пути, который мой друг Акира Хаями называет «революцией

3 Джозеф Нидэм (1900–1995) – британский биохимик, еще до войны увлекшийся китайской историей и культурой в процессе общения с китайскими коллегами, научной работой которых он руководил. «Наука и цивилизация в Китае» начала издаваться в 1954 году. Предполагалось выпустить семь томов, но в итоге их вышло 27.



РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ

усердия»⁴: они увеличили производительность за счет того, что стали больше работать, а численность населения при этом выросла. В Англии имела место промышленная революция, в ходе которой человека частично заменили машины, китайский же путь «революции усердия» к этому просто не мог привести.

Получается, что ни в Китае, ни в Японии промышленная революция не могла произойти в принципе, но, когда она уже произошла в Европе, ее плоды стали доступны всем. Ни вы, ни я не смогли бы изобрести операционную систему «Windows», но, как только она появилась, мы начали ею пользоваться, ничего не понимая в компьютерах. Так и здесь: когда уже есть наука, есть западные технологии, есть промышленная цивилизация, их можно взять в готовом виде.

И даже лучше, потому что, как только ты получил готовый продукт, ты начинаешь разбираться, как он работает, а разобравшись, получаешь возможность изобрести что-то новое. В этом смысле Китай и Япония вполне способны впитать науку, применять ее и развивать дальше, хотя изначально она не могла быть там создана. Науку должны были изобрести мы, а уже в изобретенном виде она работает для всего человечества. Наверное, так имеет смысл ответить на этот вопрос.

{ Запад – благодаря греческой науке и впоследствии христианскому отношению к природе – всегда верил в законы, повторяемость, единообразие. В восточных системах этого нет.

Р.М.: На ваш взгляд, Геллнер мог бы принять эту идею, сочетающую расколдовывание и модерн, оставаясь в собственной системе, или она разрушила бы саму эту систему?

А.М.: Не думаю, что идея, которую я только что изложил, могла бы составить для него какую-то сложность. Идея же сама по себе проста: изобретатель системы отличен от ее пользователя. В математике – то же самое. Как вы сказали, между антропологическими школами, даже между факультетами во всем мире есть различия, а математики и физики всего мира говорят на одном языке. Мой друг Джерри Мартин⁵ говорил, что

4 Игра слов: *industrial* и *industrious (revolution)*. Понятие «революции усердия» было впервые введено японским историком-демографом Акирой Хаями (1929–2019) при описании японской экономики периода Эдо, когда производительность и спрос значительно выросли, несмотря на отсутствие серьезных технологических прорывов.

5 Джерри Мартин (1930–2004) – британский инженер, один из основателей компании «Eurotherm», производящей контрольно-измерительные приборы. Написал книгу «Стекло в батискафе: как стекло изменило мир» (2002) в соавторстве с Аланом Макфарлейном.

этим антропология всегда приводила его в недоумение: в ней столько зависит от культуры. Это потому, что он инженер. Встретив японского или китайского инженера, он через десять секунд находил с ними общий язык, потому что инженерный язык универсален, язык математики универсален.

И тем не менее у японцев и китайцев есть отличные от нашей математические системы, довольно хорошие и эффективные, и многие полагают, что в древности Китай вплотную подошел к Евклидовой математике. Многие западные математические проблемы им удалось решить с помощью собственной системы, которая построена на других принципах и в которой задействованы другие операции. Но мне кажется, что в математике можно оперировать сразу двумя системами. Хороший китайский математик, работающий в национальной традиции, может воспользоваться западной математикой для разрешения каких-то задач, только он сделает это на счетах, а не на калькуляторе. И для каких-то целей счеты даже лучше.

То же самое и с традиционной медициной. В Китае у меня есть замечательная подруга – она монашенка, но при этом еще и врач с западным образованием и соответствующими квалификациями. Кроме того, она доктор французской филологии – помимо того, что возглавляет женский буддистский монастырь. Так вот, у нее есть хобби: она читает книги по математике. У ее кровати лежит целая стопка – читает она по ночам: «Элементы» Евклида, ньютоновские «Начала» (это самая трудная в мире книга), «Универсальная математическая энциклопедия» – такое вот чтение на ночь. Но в то же время она один из ведущих специалистов по традиционной медицине – то есть она знает травы, владеет акупунктурой и всем прочим. Она знает, как все это применяется. Если ей нужно прибегнуть к западной медицине, она прибегает к западной медицине. То есть она и есть тот мир, который сейчас пытаемся построить. Есть проблемы, для разрешения которых имеет смысл прибегнуть к акупунктуре.

Р.М.: Когда я читал ваш отчет о работе в Непале, меня больше всего поразило, что речь о духах заходит уже прямо на обложке. Я даже подумал: «Что здесь вообще происходит: это продолжение “Властелина колец” или очередной японский ужастик? Неужели автор действительно думает, что духи существуют?» То же самое и с вашим интересом к традиционной медицине – это ведь довольно спорная вещь, многим она представляется шарлатанством. Но вы явно очень ее уважаете – и таких людей тоже много. Скажите, вы лично приняли довольно странные метафизические претензии этих религий – скажем, существование духов – или для вас это просто то, во что эти люди верят?

**РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН**

**ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ**



А.М.: Здесь сразу несколько интересных вопросов. Проще всего первый, касающийся традиционной медицины в Индии и Китае. Я просто не могу понять, откуда у западных врачей такое неприятие восточной традиционной медицины, если не объяснять это желанием монополизировать рынок. Понятно, что им хочется господствовать на рынке. Но я на себе испытал китайскую традиционную медицину – она работает! Просто в качестве примера: я работал с одной из своих студенток в китайском захолустье, и мне прищемили палец дверцей машины. Он почернел и распух. Она побежала в аптеку, купила какую-то традиционную мазь, мы ее наложили, и буквально через десять минут отек начал сходить, чернота начала отступать. Эта мазь до сих пор стоит у меня в буфете, я сам ей пользовался много раз и давал другим – она помогает! У меня есть, как они выражаются, собачьи шкуры (на самом деле это не собачьи шкуры): если заболит спина, нужно приложить эту штуку, и боль проходит. У меня есть лекарство от простуды, которое помогает гораздо лучше любого западного средства. Чай, женьшень... Самое важное – чай.

То есть в определенных случаях они прекрасно помогают, однако не во всех. Глупо отбрасывать пятидесятилетний опыт, который разделяет половина населения земного шара, просто на том основании, что наша медицина была довольно-таки беспомощной вплоть до конца XIX века – ведь только тогда нам стало понятно, чем мы вообще занимаемся.

Теперь, что касается духов. Обычно в таких случаях цитируют Шекспира: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». В общем-то, одна из причин, по которой я отошел от христианства, состояла в том, что я ни разу не почувствовал Христа в сердце своем. Мне обещали какой-то опыт присутствия Христа внутри меня самого, но мне так и не довелось пережить этот опыт. И никакого другого духовного присутствия я тоже никогда не чувствовал. Соответственно, мое отношение ко всему этому совершенно такое же, как мое отношение к богу – можно, пожалуй, сказать, что в его основании слова [Бертрана] Рассела. Когда его спросили, что он считает величайшим изобретением XX века, он ответил: «Умение воздерживаться от суждения». Изобрели это, конечно, не в XX веке, а раньше, но это действительно одно из величайших изобретений. Суть в том, что в науке – и это знает любой ученый – речь не идет о достоверном знании. В науке речь идет о том, чтобы выдвинуть гипотезу, которая будет оставаться верной до тех пор, пока кто-нибудь не докажет, что она ложная. То есть от суждения об окончательной истине мы попросту воздерживаемся. То же самое можно сказать и о моем отношении к миру в целом. Я не знаю, есть бог или его нет, я воздерживаюсь от суждения.

И с духами точно так же. Просто расскажу вам несколько историй. У [Томаса] Куна⁶ получается так, что вот существует парадигма и вокруг нее начинают возникать какие-то несоответствия, аномалии, исключения. Со временем они приобретают такой вес, что парадигма просто опрокидывается. Если парадигмы действительно сменяют друг друга таким образом, то от непонятного нельзя отмахиваться – все необъяснимое надо складывать в отдельный ящик с пометкой «Воздержаться от окончательного суждения». Там это все должно складироваться: мы не знаем, как объяснить эти вещи, – мы воздерживаемся от суждения. Обнаружится что-нибудь еще необъяснимое – кладите его туда же; в конце концов, в этом ящике может объявиться некая закономерность.

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ

Если парадигмы действительно сменяют друг друга, то от непонятного нельзя отмахиваться – все необъяснимое надо складывать в отдельный ящик с пометкой «Воздержаться от окончательного суждения».

Так вот – о том, что у меня лежит в этом ящике... Начнем с Сары (моей жены и коллеги по исследованиям) и духов. В непальской деревне, где мы жили, верят, что после смерти человек не сразу отправляется в деревню мертвых (Plah Nasa), а еще какое-то время остается дома, поэтому в деревню мертвых его нужно направить с помощью особого ритуала. Значит, мертвые остаются там, где жили, и в это время могут представлять некоторую опасность – скажем, если им досталась нелегкая смерть или если потомки о них не помнят. Как бы то ни было, у нас там был близкий друг – человек, у которого мы жили в наши первый и второй приезды, в классификационной системе родства⁷ он приходился мне дядей (так я его и звал, *Ateba*). Я очень его любил, его дом стоял метрах в тридцати от нашего. Так вот, он умер – он был уже очень стар. Обычно тело сразу же относят к реке и там сжигают – это отчасти успокаивает духа, который будет присутствовать в деревне. Но в тот день шел страшный дождь, а спускаться к реке нужно было фактически по голой скале, что в дождь очень опасно. Поэтому к реке не пошли, а оставили его тело дома.

6 В книге «Структура научных революций» (1962).

7 Американский этнолог Льюис Генри Морган (1818–1881) различал дескриптивные системы родства, в рамках которой каждый новый родственник обозначается либо отдельным термином, либо сочетанием терминов (типа «муж сестры бабушки»), и классификационные системы, в которых термин родства означает не конкретного человека, а класс родственников: например, в класс «брат» будут входить все родственники мужского пола конкретного поколения без градации их родственной близости вроде «родной», «двоюродный» и так далее.



Часа в три ночи Сара разбудила меня и спросила, не вижу ли я лиц над нами. Мы там построили себе домик, и метрах в двух над нашими головами была бамбуковая рама, на которой – вместо потолка – лежала циновка. Это довольно близко: когда лежишь в постели, циновка прямо у тебя над головой. Я сказал, что никаких лиц не вижу, а Сара начала описывать: «Лица старушечьи, но довольно странные: рты ввалились, зубов нет. Они как будто мертвые. Их три или четыре, и они смотрят на меня сверху вниз, как зеркала на дискотеке, все под разными углами». Я переспросил, точно ли она их видит. Сара сказала, что да. Я спросил, уверена ли она, что не спит, – Сара ответила, что уверена. Я несколько раз похлопал ее по плечу, и мы заговорили о чем-то другом. Было очевидно, что она не спит. Через некоторое время я спросил, не исчезли ли лица. Она сказала, что нет. Я встал, подошел к окнам и открыл ставни. Было еще темно, я взглянул на часы, вернулся в постель, похлопал Сару по плечу: «Ну, что, они все еще там?» – «Да». Это продолжалось еще часа два, потом рассвело, прокричал петух, и Сара сказала, что лица исчезают. Это произошло один раз, но уже после этого один или два раза Сара чувствовала, что лица снова хотят появиться, но ей этого не хотелось, и она их оттолкнула.

Теперь продолжение этой истории. Мы поднялись выше в горы – там жила Дилмайя, моя названная сестра, самый близкий мне человек среди гурунгов⁸. За завтраком она спросила, как у нас дела, и мы рассказали ей об этом видении. Мы думали, что она как минимум удивится, но она просто сказала: «Ну, да, это были духи дядиных мертвых жен». Он был женат несколько раз, и они пришли забрать его, это было абсолютно ожидаемое событие.

Это первая история о духах у гурунгов. Вторая произошла во время трехдневных похорон Дилмайи (она умерла совсем молодой). В какой-то момент совершается ритуал, в ходе которого ее дух отправляют в землю мертвых: приводят овцу, в которой обретается ее дух, кормят ее, расчесывают гребешком Дилмайи и потом показывают овце ее отражение в зеркале. Я все это снимал на киноплёнку. В классификационной системе родства я был братом Дилмайи, поэтому всем этим должны были заниматься мы с Сарой. Дух Дилмайи находится в овце, и есть еще одна овца, подруга первой, и в ней тоже ее дух. Овца съедает то, что ей дали, потом они приносят ее в жертву и рассматривают внутренности. Верование состоит в том, что если дух съел полагающуюся ему пищу, то никаких следов этой пищи не останется. Овце скормили печенья, апельсина-

8 Гурунги – тибето-бирманский народ с собственным языком, живущий в центральном и западном Непале и в незначительном количестве – в Бутане и Индии. Численность – свыше 600 тысяч человек.

вую кожуру и что-то неперевариваемое – вроде обертки от сигарет. И у овцы во внутренностях никаких следов всего этого не нашли. Я снимал все это на киноплёнку, а своего студента Тека послал посмотреть, что там у овцы внутри, и сделать несколько фотографий. Он сказал, что никаких остатков еды не было – то есть в течение получаса все это куда-то делось.

Третий пример – собственно сама фотография. В то время я исполнял обязанности декана у себя в Кембридже, и в первый же день, когда я был по горло занят организационными вопросами, ко мне подходит студент из университета Ньюкасла и говорит: «Доктор Макфарлейн, я был на практике в соседней с вами деревне и присутствовал там на ритуале, который совершали шаманы. Я там фотографировал, и фотографии получились странные. Можно вам их показать?» Я кивнул, и он показал их мне. На фотографии 20 четыре шамана стояли в ряд, совершая очень мощный ритуал в интересах мертвого духа, который отказывался уходить и подвергся нападению ведьм. Чтобы отбиться от ведьм, шаман должен был погрузиться в транс и начать бить в свой барабан. После этого разворачивается жесточайшая битва между ведьмами и покровительствующими духу предками и богом – покровителем шаманов. В этой битве шамана могут даже убить. Погрузившись в транс, этот шаман (он мой близкий друг и сейчас живет в Англии, его зовут Ярджунг Кромдже Почу) одолел демонов.

На фотографии 21 видны какие-то вспышки: желтые, зеленые, нечто вроде радуги. Фотография 22, сделанная секундой позже, совершенно обычная. Пока студент мне это показывал, в комнату, по странному стечению обстоятельств, вошел Ярджунг – тот самый шаман, запечатленный на фотографии. Он взглянул на изображение и сказал: «Это я, а это мои духи. Камера в точности запечатлела то, что я вижу в своем уме, когда погружаюсь в транс». Я спросил, каким образом камера могла это сделать. Он ответил: «Я не знаю, но это именно то, что я вижу». Я отправил снимок в фирму «Кодак», и они ответили, что иногда на пленке возникают солнечные пятна, иногда объектив не срабатывает так, как должен, создавая странные эффекты, и так далее. Я показал снимок Нику Хамфри, эксперту по паранормальной психологии, и он сказал, что такое случается, но вероятность попадания подобных вещей на пленку – несколько миллионов к одному, то есть это крайне маловероятно.

Но потом это повторилось. Тот же самый шаман приехал в Кембридж и предложил несколько своих ценных объектов в дар Музею археологии и антропологии. Самым ценным был барабан его отца. Перед церемонией передачи дара ему в течение недели пришлось спать с барабаном в обнимку в определенной позе. Церемония проходила в одной из центральных

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ МОДЕРНОСТЕЙ



комнат музея в присутствии аспирантов и некоторых кураторов: стоило Ярджунгу передать барабан, как во всем музее погас свет, все погрузилось во тьму. Специалисты, которые осматривали проводку, сказали, что в комнате, где происходила церемония, возник громадный скачок напряжения, выведший из строя всю сеть.

Кроме того, был еще один случай с Сарой – на нем я и закончу. У нас был студент (к сожалению, он недавно умер) Винай Шриваштава, который в Индии писал докторскую о погонщиках верблюдов в Раджастане – у них тоже есть шаманы. Он много там фотографировал, потом вернулся в Англию. В тот момент на всем факультете только Сара знала, как устроена наша темная комната для проявки фотографий. Винай обратился к ней за помощью, и, пока они проявляли пленки, Винай рассказал, что, встретив группу людей, среди которых был знаменитый своим могуществом шаман, он спросил того, можно ли его сфотографировать, и шаман сказал, что можно, но фотография все равно не получится. Они проявили снимки, и, когда дело дошло до этой конкретной фотографии, оказалось, что она засвечена в том месте, где стоял шаман, а все остальные люди при этом видны.

Я много расспрашивал других антропологов, и они тоже мне рассказывали похожие вещи. Один мой индийский друг-издатель даже предложил мне написать книгу-страшилку для антропологов. Может, когда-нибудь я ее и напишу, но пока я складываю все эти истории в отдельный ящик. Самих по себе этих историй не достаточно, чтобы я полностью отказался от западной науки и философии. Но задумайтесь на секунду: если бы триста лет назад кто-нибудь сказал западному человеку, что скоро мы научимся отправлять изображения и звуки по воздуху и станем посылать по проводам громадные силы, которые будут приводить в движение все, что нас окружает, то поверить в это до наступления эпохи электричества, эпохи интернета было бы крайне сложно. Если в современной физике мы принимаем мультивселенные, то что мешает нам предположить наличие параллельных реальностей, в которых могли бы найти свое законное место все эти духи?

Р.М.: Мне хотелось бы расспросить вас о связи антропологии с империей. В золотой век своей науки антропологи были очень тесно связаны с империей. Какой вам представляется эта связь и как вы сейчас оцениваете Британскую империю, которую часто называют худшей из когда-либо существовавших, и ее влияние – как в смысле наследия, которое она после себя оставила, так и в смысле того, что она в свое время совершила? И какую роль в этом сыграла антропология?

А.М.: Нет ни малейшего сомнения, – и об этом идет речь в соответствующих книгах Талала Асада и других авторов, – что британская антропология, которую я, собственно, лучше всего знаю, была активно вовлечена в «имперский экспансионистский момент», как называет это Джек Гуди. Американская – в меньшей степени. Американская антропология связана с другим типом империализма – с покорением коренного населения. То есть американская антропология в значительной степени развивалась благодаря визитам в чужие империи и в ходе работы с навахо и другими американскими индейцами; то же самое можно сказать и о Канаде.

У британской же антропологии, а также – пусть и совсем в иной форме – у французской был иной путь. Современная антропология в узком смысле, предполагающем специальное образование, формальную теоретическую традицию, специалистов, называющих себя антропологами, и так далее, появилась не раньше 1880-х годов вместе с Эдвардом Тайлором⁹. Полноценные факультеты антропологии в Оксфорде и Кембридже появились лишь в начале XX века. Полевые исследования пришли позже, затем мы видим развитие функционализма и так далее.

Этот важнейший период становления антропологии совпадает по времени с двумя или тремя последними поколениями Британской империи, причем совершенно очевидно, что из империи антропология и выросла. Достаточно посмотреть, куда ездили антропологи и что они делали: это были люди, отправлявшиеся на периферию, в зону фронта Британской империи – в Ассам, в Африку, в некоторые страны тихоокеанского региона. Империя быстро расширялась, постоянно конфликтуя с племенными обществами, и антропологи стремились понять, как этих конфликтов избежать: выясняли, как устроены эти общества, во что эти люди верят и, главное, какая у них политическая система. Антропологи быстро убедили власти, что проблему проще всего решить, отправив туда антрополога, который выучит язык, погрузится в среду и объяснит в своих докладах колониальным администрациям, что эти люди такие-то и такие-то и лучше всего с ними обращаться так-то и так-то. В случае Британской империи это было особенно важно, потому что в системе имперского управления было крайне мало британцев, империя очень быстро стала управляться посредством делегирования полномочий, через местные структуры власти, через вождей и уже существующие институты. А для этого нужно было знать, как эти институты устроены. Крайне важно было поставить себе на службу уже существующую систему. Кроме того, Британская империя не была империей иде-

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ

⁹ Эдвард Бернетт Тайлор (1832–1917) – британский антрополог-самоучка, эволюционист по убеждениям. С 1884 года – лектор по антропологии в Оксфорде.



ологической. Миссионеры играли свою роль, но не они были движителями империи. Империя была экономической, экономика вела к политике, потому что для хозяйствования нужен был мир. Соответственно, не было никаких попыток обратить этих людей в свою веру или сделать из всех них британских граждан – паспортов им не раздавали. Все, что требовалось от народов империи, – это сохранять мир и порядок; нужно было, чтобы они платили налоги и покупали британские товары. В основе лежало стремление не мешать людям и уж точно не грабить и не притеснять их, потому что на границах империи всегда были какие-нибудь горцы, которые могли спуститься в долину и поубивать всех твоих чайных плантаторов или кто там еще был.

Соответственно, антропологи удовлетворяли стремление Британской империи к обретению новых знаний, и освободиться от влияния этого фактора они не могли. Антропологи знали, что им можно говорить и чего нельзя, что можно делать, а чего делать не следует. Даже я, занимаясь полевыми исследованиями в Непале – империи уже не было, но они знали, что я британец, а мой друг служил в подразделении гуркхов, – был для них британским офицером, приехавшим на разведку. Я собирал ценную информацию, и они особо не возражали – ведь еще неизвестно, какая информация окажется особенно ценной, когда я вернусь домой.

То есть при особо критическом настрое можно сказать, что антропологи были лакеями или инструментами в руках британских колониальных служб. В Кембридже даже была специальная программа обучения колониальных чиновников, отправляющихся в Африку и другие регионы, она закрылась незадолго до того, как я пришел в университет. Иными словами, все были вовлечены в колониальные дела; но бывали и трения, потому что время от времени – к изумлению колониальных служб – антропологам случалось полюбить изучаемые народы и они начинали становиться на их сторону в конфликтных ситуациях.

Р.М.: Они превращались в туземцев!

А.М.: Иной раз даже чересчур. Начинались такие разговоры: «Подождите, нельзя строить эту фабрику или эту дорогу. Нельзя рубить эти деревья. От этого человека невозможно избавиться». Другими словами, они – чудо из чудес! – находили нужным сказать: «Эти люди не дикари. Может, они и проще нас, и технологии у них не такие развитые, но они уж точно не дурнее нас, они все чувствуют, они такие же люди. Поэтому нельзя относиться к ним как к существам второго сорта – отно-

ситься к ним нужно так же, как к собственным гражданам. Все их отличие от нас – отсутствие благ, которые дают западные технологии, и недостаток образования».

То есть довольно часто антропологи становились для колониального руководства бельмом на глазу. И даже сотрудники колониальных администраций, работавшие на месте, становились бельмом на глазу, потому что они тоже защищали местных. Среди антропологов первых поколений было довольно много бывших колониальных чиновников. Мой близкий друг и старший коллега по Кембриджу Гвиллиам Иван Джонс¹⁰ работал в колониальной администрации на юге Нигерии. Помню, он замечательно рассказывал, что ему никто не мешал сколь угодно внимательно относиться к местным жителям и подстраиваться под них, потому что Лондон был слишком далеко. Он с огромной теплотой вспоминал дотелеграфные и дотелефонные времена: время от времени в резиденции появлялся гонец с палкой-рогаткой в руках, на одном из рогов – записка: «Как вы решаете такую-то проблему?». Гвиллиам быстро писал ответ: «Принимаю обычные меры». И люди в центре могли только пожимать плечами: «Что понимается под обычными мерами, нам не известно, но и спрашивать тоже не с руки». Или взять двух первых профессоров нашего факультета Ходсона и Хаттона¹¹ – оба изучали народ нага, оба относились к этим людям с большой симпатией и пониманием, оба написали замечательные монографии о них. В этом смысле антропология конфликтовала с империей.

Что касается самой империи, то я думаю, что она была отнюдь не худшей. В этом смысле я согласен с Черчиллем, который сказал, что если не считать всех других империй, то британская была, безусловно, худшей. Иными словами, если бы нам вверили незавидную работу по сортировке империй на плохие и не столь уж плохие, то я отнес бы Британию к не столь уж плохим – именно по той причине, что это была империя экономическая, а не идеологическая. Экономическое хищничество производит опустошительное действие, а необходимость поддержания мира приводила к известным зверствам, самые знаменитые из которых – Амритсарская бойня 1919 года и подавление восстания мау-мау в 1950-е. Не будем умалять трагизма этих событий, но если принять во внимание

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ МОДЕРНОСТЕЙ

10 Гвиллиам Иван Джонс (1904–1995) – британский антрополог-африканист; с 1926-го по 1946 год возглавлял колониальную администрацию в округе Бенде на юге Нигерии, в процессе много фотографировал местное население и увлекся антропологией.

11 Томас Каллан Ходсон (1871–1953) – первый профессор социальной антропологии в Кембридже, автор термина «социолингвистика». Джон Генри Хаттон (1885–1968) работал в колониальной администрации Индии в штате Ассам, организовывал перепись населения Индии 1931 года и составлял отчет по ее результатам. В 1937-м сменил Ходсона в должности профессора антропологии. Оба начинали свою научную жизнь с публикации монографий о народе нага, живущем на северо-востоке Индии.



размер Британской империи, ее трехсотлетнюю историю и тот факт, что худшее из случившегося обошлось двумя тысячами жертв (и даже этот худший случай – история довольно запутанная), то с бельгийским Конго это ни в какое сравнение не идет. Или с покорением Южной Америки испанцами и португальцами. И даже с действиями Франции в юго-восточной Азии и, разумеется, в Алжире. Да, нас это шокирует, особенно если не забывать о рабстве и работорговле. И тем не менее в силу того, что это был рациональный, экономический вопрос и по многим причинам нужно было сохранять мир, создавать разумную правовую систему и, например, пытаться улучшать пути сообщения, появлялись некоторые вещи, благодаря которым даже индийцы – уже после того, как они обрели независимость, – могли сказать: «Пожалуй, кое-что хорошее и мы от этого получили».

И, наконец, хороший показатель, демонстрирующий разницу, – это британская трастовая система. Суть трастовой системы, как я ее описал, состоит в том, что некая группа берет на себя воспитание наследника богатой общины, а когда этот наследник достигает зрелости, определенного уровня образования и независимости, эта группа возвращает его обратно. Как говорила Джулия Мэйтланд¹², а к концу XIX века писала уже вся британская пресса, какую газету ни открой: «Мы взяли Индию в трастовое управление. В один прекрасный день наши обязанности будут исполнены, и индийцы снова станут индийцами». Именно на этом успешно сыграли впоследствии Ганди и Неру. По большому счету, Индия никогда не была нашей. При всем патернализме, заключенном в этих словах, они были для нас детьми. У них не было технологий, которые были у нас, не было системы образования и всего прочего, но предполагалось, что в один прекрасный день они все это обретут. Они были чем-то вроде учеников приготовительных классов, нуждавшихся в приучении к дисциплине и должной организованности. Но всегда имелось в виду, что когда-нибудь они станут равными нам. И эта идея траста разительно отличается от того, что мы видим в континентальных империях. Именно поэтому Франции, Бельгии или Испании было так трудно развязаться со своими империями: когда вьетнамцы, марокканцы или кто-то еще начинали требовать свободу, французы неизменно им отвечали: «Какую еще свободу? Вы французы, вы наши братья, мы дали вам наши паспорта – чего еще вы хотите?» Но те продолжали настаивать: «Мы хотим свободы. Мы

12 В 1837–1839 годах Джулия Мэйтланд (1808–1864) и ее муж руководили организованной ими же школой для мальчиков в Раджамандри на юго-востоке Индии. В 1843 она анонимно опубликовала «Письма из Мадраса», в которых рассказывала о работе школы и доказывала необходимость создания национальной системы образования в Индии.

не хотим быть французами». А это уже воспринималось как предательский удар, как оскорбление, и ничего не оставалось, кроме как убивать их, чтобы не дать им возможности стать свободными. Самое поразительное в Британской империи – это то, что она развалилась почти мгновенно. За два–три поколения, в течение моей жизни, после Второй мировой войны она из крупнейшей в мире империи превратилась в ничто. Примерно за двадцать лет. И все потому, что колонии заявили: «Погодите, вы же говорили, что мы можем получить свободу. Мы готовы, мы способны с ней справиться». И британцы ответили: «Окей».

Когда я приезжаю, например, в Китай и там заходит речь о шотландском референдуме, китайцы неизменно говорят: «Погодите, нельзя допускать никакого референдума, Шотландия – часть вашей страны», а мы им отвечаем: «Нет, если им хочется быть шотландцами, пусть будут шотландцами, они же не собственность, которой мы владеем». Словом, это один из верных признаков: то, как разваливаются империи, ясно показывает, что обеспечивало их единство. И вторая вещь: после развала европейских империй – французской, испанской, португальской – все без исключения колонии стали независимыми государствами, и только в случае Британской империи бывшие колонии сказали: «Погодите. Мы, конечно, не британцы, но мы с вами в одном клубе, в Содружестве. Нам хотелось бы остаться в этом клубе в смысле торговли, правовой и образовательной систем, дружеских связей и так далее. Можно?» Отсюда эта крайне необычная ситуация, когда Канада, часть Африки, Австралия, Индия и так далее остаются членами Содружества наций на протяжении вот уже трех поколений. За это время Содружество ослабло, но оно по-прежнему существует, кто-то по-прежнему обращается в британские суды в спорных случаях. То есть это особенная империя – что не удивительно, поскольку остров у нас тоже очень особенный.

Р.М.: Почему антропологи отказались от коллекционирования? Ты же привозишь какие-то значимые реликвии, исчезнувшие истории – и вдруг антропологи перестали это делать. Почему? Разве хранить – это не наш долг?

А.М.: Я часто об этом думаю, но окончательного ответа у меня нет. Я знаю, когда это произошло: после Второй мировой войны. Хаттон был большим коллекционером, собирал все, что связано с нага; Ходсон тоже и в некоторой степени и Хаймендорф¹³. [Бронислав] Малиновский не особенно – возможно,

13 Кристоф фон Фюрер-Хаймендорф (1909–1995) – австрийский этнолог, профессор Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета. В течение сорока лет изучал культуру племен северо-восточной Индии (нынешние штат Телингана и Непал).

**РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН**

**ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ**



РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ

тут и кроется разгадка. Большие антропологические музеи появились в конце XIX века – вроде Музея археологии и антропологии Кембриджского университета или Музея Питт-Риверса в Оксфорде. Думаю, дело в том, что мы отказались от эволюционного подхода, на который опирались Хаттон или Питт-Риверс: если тебе надо понять современные технологии, изучи их историю. Так устроен музей Питт-Риверса, и он прекрасен. Сначала смотришь на последние достижения, потом – на все более простые старые формы и так далее... Это как дарвиновский музей происхождения видов. Так были устроены музеи до Второй мировой войны. Антропологи ездили в свои экспедиции и привозили материалы, которые можно было выставить в соответствующих разделах эволюционной экспозиции.

То, как разваливаются империи, ясно показывает, что обеспечивало их единство. После развала европейских империй – французской, испанской, португальской – все без исключения колонии стали независимыми государствами, и только в случае Британской империи бывшие колонии остаются членами Содружества наций на протяжении вот уже трех поколений.

Что же касается послевоенного времени, то можно взять пример Эдмунда Лича¹⁴. До войны он изучал даяков¹⁵, собирал образцы их материальной культуры, интересовался конструкцией каноэ и так далее. Даже после войны в Кембридже еще преподавали историю материальной культуры. Люди вроде Джека Гуди должны были рассказывать о монгольской технике стрельбы из лука, объяснять, как бросать бумеранг, и так далее. Им самим это было смешно, но приходилось читать такие лекции. А потом это все это ушло. Когда учился я, еще был курс по музейному делу, но потом и он исчез.

Думаю, тому есть две причины. Во-первых, антиимпериализм. Хорошо, конечно, съездить и привезти бенинскую бронзу, гавайские накидки из перьев или даже простейшие инструменты, как это делали во времена империи. Но это стало зазорно – это же не наша собственность. Даже если у тебя есть расписка: «Я продал эту вещь Алану Макфарлейну»... Я привез несколько мелочей из Непала, но ничего с ними не де-

14 Эдмунд Лич (1910–1989) – британский социальный антрополог, участник семинара Малиновского. Изучал системы родства у бирманских племен, работал в Кембридже, в 1971–1975 годах возглавлял Королевский институт антропологии.

15 Даяки – общее название аборигенов острова Калимантан (он же Борнео).

лал. В общем, мы теперь не грабим другие культуры. Это урок 1960-х, может, даже 1950-х.

Вторая причина – функционалистский постулат о том, что материальная культура не развивается эволюционно, поэтому нет смысла так ее подавать. Вот смотришь ты на африканский лук – и что ты поймешь, глядя на него? А вот если изучать мифы, легенды, политическую структуру, связанную с оружием, то тогда что-то можно понять.

Р.М.: Вы занимались полевыми исследованиями в Непале, Китае и Японии. Первым был ведь Непал?

А.М.: В университете я изучал историю Англии и к 1968 году уже немало сделал в этой области – меня интересовала социальная история. В конце 1968-го я со своей первой женой поехал в Непал, чтобы заняться обычными антропологическими полевыми исследованиями.

В те времена считалось, что главное – найти какое-нибудь маленькое закрытое сообщество и всесторонне его изучить. Чем меньше оно похоже на твое собственное, тем лучше. Ты регулярно сталкиваешься с чем-то совершенно неясным, поэтому приходится расширять свой умственный кругозор и пытаться понять нечто совершенно чуждое. По совету своего научного руководителя Кристофа фон Фюрера-Хаймендорфа я поехал в далекую деревню, в предгорья Аннапурны в центральном Непале. Тогда там не было ни электричества, ни дорог. В каком-то смысле она была не настолько далекой, как может показаться, потому что большинство местных мужчин служили за границей в бригадах британских гуркхов, поэтому там имелось радио и тому подобное. Но ощущалась эта деревня как далекая, потому что сохраняла черты древности: там все еще верили в ведьм, там всем заправляли шаманы, по вечерам люди собирались на ритуальные песни и пляски. То есть общество было в достаточной степени Другим, достаточно далеким.

Но поначалу я все равно был шокирован. У всего, что мне казалось чем-то естественным – структура семьи, мои представления о личном пространстве, приличиях, монотеизме, – здесь была альтернатива, которая работала ничуть не хуже. Эти люди спокойно обходились без христианства, не мылись каждый день, не закрывали дома на замок. С антропологической точки зрения, мне предстояло решить загадку. Сначала был полный хаос. Как будто возвращаешься в младенчество. Ничего не понятно – ни слова на местном языке, ни толики местной культуры. И потом постепенно, гадая и пробуя, связывая одно с другим, начинаешь понимать эту культуру. На это может уйти полгода, десять месяцев, год, но в итоге ты начинаешь что-то понимать.

**РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН**

**ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ**



Потом мне пришлось оттуда уехать, и вернулся я только через шестнадцать лет, в 1986 году, уже с другой женой – Сарой. Ей все очень понравилось, а я был поражен тем, что меня там до сих пор помнили. Непал стал для меня параллельным миром: в последующие восемнадцать лет мы приезжали туда почти каждый год, то есть за последние пятьдесят лет я был там двадцать раз. На протяжении восемнадцати лет половину своего времени я проводил в Кембридже, а половину – в Гималаях, и как оказалось, это очень продуктивно. В тамошнем колдовском, шаманском мире в каждом камне, дереве, доме полно духов. У очага есть свой дух, и у водопроводного крана есть свой дух. Это доосевая культура, очень древний шаманский мир, который не раз описывали антропологи, а я наблюдал воочию. Было очень странно возвращаться в Кингз-колледж и преподавать студентам, но это продуктивная смена деятельности.

Тогда я впервые поставил под вопрос свои представления о том, как устроен мир. Мне казалось, что в моем мире все налажено и он превосходит все остальные. Но при этом он никак не связан с тем другим миром, который существует как будто во сне. Ты, как бабочка, которая проснулась человеком, и для тебя все тут реально, а в том мире все сон – и наоборот.

В 1990 году я поехал в Японию по приглашению Британского совета, и только тогда мои взгляды стали меняться. Я, собственно, отчасти и поехал туда потому, что мне казалось, что с Японией будет, как с Непалом. Марк Блок в своей великой книге «Феодальное общество» говорит, что Япония – единственный известный ему пример централизованного феодализма за пределами Европы. Япония известна тем, что она стала первым индустриальным обществом в Азии, подобно Англии в Европе. Японцы на два поколения обогнали всех своих соседей. Поэтому Япония была мне интересна, хотя я ничего о ней и не знал. И вот мы с Сарой поехали туда на целых полтора месяца.

В основе антропологии всегда лежит дружба, пусть даже не все это признают. Но как залезть в голову или душу человеку из другой цивилизации, если ты родился и вырос в другом месте и не говоришь на его языке? Подружиться с кем-нибудь – другого пути, в общем-то, нет. Ты сближаешься с одним человеком или двумя, строишь отношения, основанные на симпатии, взаимопонимании и доверии, находишь способы общения, которые позволяют обсуждать все что угодно без долгих предисловий. А потом вы изучаете миры друг друга через разговоры и общий опыт. Так же учатся дети – через установление отношений. Для антропологии это самый успешный сценарий. Если вы откроете работы [Эдварда] Эванса-Притчарда или Фюрера-Хаймендорфа, вы увидите, что они пишут: «Основным источником информации для меня стал X или Y» – или что-то в этом роде.

В Японии мы познакомились с двумя учеными. Одну из них звали Тосико Накамура – именно она меня пригласила или по крайней мере предложила, чтобы я приехал, потому что она прочитала мою книгу «Брак и любовь в Англии» (1986). Она была одной из первых феминисток, и книга ей понравилась. Она предложила своему мужу Кэнити Накамуре, профессору международных отношений, а впоследствии декану соответствующего факультета в университете Хоккайдо, позвать меня в качестве приглашенного лектора. Мы приехали, и они взяли нас под крыло, стали нам как родители.

Сначала мы были младенцами: они объясняли, что вот это, Алан, делать можно, а вот это нельзя. Они приглашали нас домой, где мы вели интереснейшие беседы и устраивали семинары. И так шесть недель – но этим дело не ограничилось. Все повторилось в 1993-м, 1995-м, 1997-м, 2003-м, 2005-м, 2007-м и 2009 годах. Они ездили в качестве приглашенных профессоров в институт Ниссан в Оксфорде и неплохо знали Англию. Позже они стали приезжать и в Кембридж, в колледж Клэр-холл. То есть мы не прекращали общаться на протяжении пятнадцати лет. Кэнити мог сказать: «Не понимаю твоей религии. Почему ты вообще такой верующий?» И я отвечал: «Я не верующий, я агностик». А он: «Да нет же, ты очень верующий, только ты сам этого не понимаешь. Все, чем ты занимаешься – твоя философия, то, как ты все объясняешь, искусство, которое тебе нравится, эстетика, поэтика, твой сад... – это все связано с религией». И я вдруг понял, что он прав: это сплошное христианство.

Или мы с ним поехали в какую-то школу, и я спросил учительницу, можно ли мне побеседовать с учениками. Она сказала: «Конечно». Я спросил у них, кем они хотят стать, когда вырастут, – и все хотели быть инженерами. А когда я поинтересовался у учительницы, может ли она спросить, к какой религии они себя относят, она ответила: «Об этом я спрашивать не могу».

Я подумал, что табуированная тема, и спросил: «А что такого?». Она говорит: «У нас нет слова для религии. Они не знают, что это такое». В японском языке нет слова для религии, как и в китайском. «А как же тогда спросить?» По дороге в школу я видел много синтоистских храмов, и во всех били гонги. Так что я спросил, кто из учеников что-нибудь слышал о Будде. Ближайший буддийский храм стоял напротив школы, но о Будде никто не слышал. Тогда я спросил: «А о Лао-Цзы и даосизме слышали?». Нет. «Об Иисусе?». Нет. «О Мухаммеде?». Нет. Они ничего не знали, их этому не учили. Абсолютная пустота вместо религии. Тогда я спросил у Кэнити и Тосико: «Как это объяснить?»

А они все эти пятнадцать лет, по сути, пытались понять, что значит быть англичанином: наш юмор, наше чувство идентич-

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ



ности, почему у нас есть военные кладбища – в Японии же их нет. Я же пытался понять знаменитые парадоксы Японии, как их описывает Рут Бенедикт в книге «Хризантема и меч» (1946).

Р.М.: Позвольте вас прервать: а в Непале такое же отношение к религии или нет?

А.М.: Немного другое, хотя в целом похоже. У них нет единого слова для религии. Они похожи на японцев в том, что касается религии, – это то, что Лич и другие антропологи называют «узлом смыслов». То есть там есть религиозные ритуалы – с целью изменить мир или соприкоснуться с божественным. При этом нечто говорится и делается. Есть набор этических принципов: не убий, не укради и так далее. Есть представление о загробной жизни и о том, что происходит после смерти. Есть идеи о происхождении и смысле жизни – откуда мы взялись и как. То есть имеются догматы, теории и теология. Для нас это все слито воедино и одно без другого не бывает. Приходишь в христианский храм и встречаешься со всеми тремя составляющими.

У гурунгов, как и в Японии, эти вещи разделены. Гурунги родом из северного Китая, поэтому у них похожая религиозная система, но они немного ее модифицировали. В деревне, где жил я, вставали рано и, например, шли к небольшому святилищу в полях и выполняли пуджу в индуистском духе для местного божка, который живет под скалой. Потом возвращались завтракать, а остатки пищи бросали в очаг в качестве даров предкам. При этом, например, похороны проводились по буддистскому ритуалу. Если заболеешь, идешь к шаману. Для нас это все разные религии, а там один и тот же человек в течение одного дня практикует сразу все.

Так вот, в Японии все точно так же. Японцы и конфуцианцы, и синтоисты, и буддисты, есть даже христиане. Но это не противоположные друг другу вещи, а параллельные, смешанные. Они как элементы одного блюда. Поэтому их нельзя обозначить общим термином, можно говорить лишь о божественном, но не более. Я тогда вдруг понял, что мое понимание религии крайне узкое и провинциальное.

Чтобы закончить о Японии: я увидел там много странного. Это тем более неожиданно, если учитывать, что внешне Япония очень похожа на Запад. У них такие же города, самые современные коммуникации, развитая промышленность, современный уклад жизни. Смотришь и думаешь: «Зачем я пролетел полмира, чтобы вернуться в лондонский хай-тек?». Когда изучаешь систему родства, она такая же, как в Англии: те же термины, система наследования – все, как у нас. Социальная система не особенно отличается. Политическая система, как отмечает

[Марк] Блок, у них феодальная. Так что политика и общество очень похожи.

Но, когда дело доходит до культуры – эстетики, садов, искусства и так далее, – все по-другому. Религия в нашем понимании совсем иная. То есть что-то похоже, а что-то нет. Плюс ко всему японцы, как и все остальные, сами не понимают, как эта система работает. Никто не понимает систему, в которой живет. Мы с вами не понимаем, как устроена Англия, потому что нам и без того тут все понятно.

Пятнадцать лет я пытался разгадать эту загадку. Бывает, спрашиваю у Кэнити: «Это так-то устроено?» – а он говорит: «Нет-нет, вообще все не так». А я ему тогда: «Если не так, то как?» А он: «Не знаю, но точно не так». В 2005 году они снова сюда приехали, и я начал писать книгу о Японии. И вдруг все как-то сошлось: дело не в том, что Япония не похожа на нас, а в том, что она не похожа радикально. Тут не было осевого времени, когда мир делится на до и после. Это не осевая цивилизация.

[Карл] Ясперс тут ошибся. Япония – мир магический. Она, как та гималайская деревня, только тут 120 миллионов человек живут в огромных городах, и все они шаманы. Все они с Алтайских гор на севере Китая, все они под японской внешностью сохранили магический мир, как в Хогвартсе. Это магическая цивилизация, которая притворяется современной. И тогда становится ясно, почему их фондовая биржа и экономика Западу совершенно не понятны, почему у них совсем по-другому работает правовая система. Их политическая система... мы надеемся, и они сами пытаются нас в этом убедить, что она такая же – но она совершенно другая.

Япония – мир магический. Тут 120 миллионов человек живут в огромных городах, и все они шаманы. Это магическая цивилизация, которая притворяется современной.

На глубинном уровне они все шаманы. Помню свой триумф как антрополога, когда летом 2005 года декан университета Хоккайдо – очень умный, начитанный человек с широким кругозором – зашел к нам на чай и сказал: «Алан, прочитав вашу книгу, я впервые сам себя понял: я шаман». Такие слова – высшая похвала.

Р.М.: Но если Япония стала для вас прозрением, то с Китаем ситуация еще драматичней. Мне кажется, нам нужно научиться его понимать, если мы не хотим скатиться в очередную «холодную войну».

**РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН**

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ МОДЕРНОСТЕЙ



А.М.: Мы с Сарой отправились в Китай туристами в 1996 году – дней на десять или, может, на пару недель, и мы были поражены. Это все еще, по сути, был старый Китай. Когда мы приземлились в аэропорту, мы увидели, что рядом строят новый – но строят с помощью ручных инструментов и тачек: у них не было обычного оборудования. Мы ходили по Пекину, пытаясь купить бутылку вина, и не могли найти, пока случайно не увидели «Jacob's Creek» (кстати, мое любимое) где-то на окраине. Магазины были неказистые, люди все еще передвигались преимущественно на велосипедах и одеты были убого. Роскошью отличались лишь западные отели.

Мы поехали на север страны – главным образом, чтобы избавиться от приставленного к нам куратора, – и посетили ферму. Там все было по-старому. Хотя они уже начали выращивать урожай под пластиковой крышей. Мы спросили, как им живется, и они сказали, что за последние десять лет все сильно изменилось. Теперь они едят мясо и вообще нормально питаются, дети ходят в школу – все гораздо лучше, чем десять лет назад.

Это было и так заметно. Наш спутник Джерри Мартин – человек, сведущий в производстве, – сказал тогда: «Эти ребята скоро будут управлять всем миром. Сейчас все в полуразрушенном состоянии, но они на пути к чему-то большому». Мы не теряли связи с этими местами, и в 2002 году нас позвали туда как ученых. Мы приняли участие в экспедиции на север Китая, где были заставы с маньчжурскими войсками. Мы увидели настоящее захолустье, Ляонин, и все равно нам там говорили: «Не выходите из гостиницы без сопровождающего». Все было довольно обшарпано, но и там мы почувствовали, что грядут перемены, нам там понравилось.

Тогда же у меня появился первый китайский аспирант. До этого китайцев у нас на факультете не было, но, поскольку я занимался Японией, ко мне стали посылать китайцев – в общей сложности человек пять, причем трое из них были из континентальной части. Прекрасные студенты, и мне повезло, что я мог навещать их во время поездок в Китай.

Во время второй поездки туда нас сопровождал мой студент из Уханя. Из Уханя мы отправились в район Трех ущелий, который тогда еще не затопили под водохранилище. А потом мы поехали в Шангри-Ла (Дечен-Тибетский автономный округ) и провинцию Юньнань. То есть мы посмотрели и провинцию, и процветающие города вроде Уханя, где жили чуть ли не миллион студентов, учившихся в 60 университетах. Мы были в Сычуани и Чэнду, там я познакомился с коллегами и студентами. После этого мы стали туда ездить каждый год. С 2003-го я был в Китае семнадцать раз.

Понять Китай чрезвычайно сложно. Это страна по размеру, как Западная и Восточная Европа вместе взятые плюс запад России. С точки зрения температур и природных зон, Китай – это пространство от Финляндии до Марокко. Там живут 56 меньшинств по миллиону человек. Этой стране от пяти до десяти тысяч лет. Крайне сложные искусство и философия. Но вместе с тем все просто, потому что построено на очень простой бинарной системе конфуцианства и даосизма. Я написал нечто вроде энциклопедии «Китай от А до Я». Оказалось, что Китай, как говорил Макс Вебер, это как волшебный сад. Он хорошо разбирался в Китае, хотя его книгу «Религии Китая» часто критикуют.

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ

Р.М.: Не могли бы чуть подробнее рассказать о простой структуре Китая?

А.М.: В Китае много народа, и их разделяет не только география, но и история. Многие «глубинные структуры», как выражался [Клод] Леви-Стросс, очень простые и древние, и они до сих пор живы. Глубинная структура даосизма, китайского языка и конфуцианства связана главным образом с системой родства. Твои отношения с отцом подобны твоему отношению к императору, отношению женщины к мужчине или отношению младшего брата к старшему. Все сводится к набору отношений; соответственно, все человеческие взаимоотношения можно рассматривать как структурные отношения этого типа.

То же самое с языком – как минимум письменным: это одна из самых древних сохранившихся систем письма. Она, как дерево гинкго, которое считается символом Китая, – это даже не дерево, а живое ископаемое, дошедшее до нас из ледникового периода. У него форма листьев отличается от любого другого дерева. Так и китайский язык не похож на наш. Его называют пиктографическим, но формально он логографический – каждый иероглиф состоит из нескольких компонентов и представляет собой некую идею (логос), то есть значение слова. Один иероглиф означает человека, другой – дерево и так далее.

При этом ключевую роль играет структура, потому что отношения между логографом и представляемой им вещью непосредственны: ты видишь иероглиф дерева, а это и есть изображение дерева. И слова в предложении складываются не так, как в алфавитных языках. То есть это очень примитивный язык, но при этом мощный, потому что там не разделяется смысл слова, то, как оно звучит, и то, как оно выглядит.

Поэтому китайские искусство и мысль совершенно не похожи на наши: они не разделяются на видимое и слышимое. Для Запада это ключевое различие. Леонардо говорил, что живо-



пись – это немая поэзия, а поэзия – слепая живопись. Китайская каллиграфия – это сразу и звук, и картинка, поэтому она вдвое мощней. Помню, как-то мы пили чай в саду с друзьями-японцами. И они сказали: «Как прекрасно! Даже лучше, чем во многих японских домах. Но знаешь, Алан, чего-то не хватает». Я спросил: «Чего?» – «Какой-нибудь каллиграфии. Надпись все оживит и придаст смысл». В токономе, ритуальной нише в стене японского дома, нет изображения бога, но есть свиток с письменами. Таким образом, социальная структура и система идей тесно связаны и очень просты.

Эмиль Дюркгейм, работы которого я не слишком люблю и которого часто критикую, при анализе древних религий австралийских аборигенов выделил два типа социальных структур: цивилизацию аборигенов и современные цивилизации. Аборигенные цивилизации он сравнил с дождевым червем: каждая часть самодостаточна, а смысл общества рождается из отношений между всеми сегментами. Более современные цивилизации основаны на разделении труда между частями, то есть у них есть нечто вроде рук, головы, желудка и так далее, и ни одна часть не обладает самостоятельным смыслом и не функционирует без всех остальных частей. Современные цивилизации зависят от связей между своими составляющими, а аборигенные общества устроены по принципу червя.

Так вот Китай именно таков: его можно, как червя, разрезать, где угодно, а он все равно вырастет в Китай. Можно перенести группу китайцев в Нью-Йорк, и они создадут там Китай. Монголы, маньчжуры или японцы могут убить сто миллионов человек, а Китай все равно возродится. Поэтому он и существует уже пять тысяч лет. Невозможно уничтожить Китай, не перебив всех китайцев до одного. Американцы этого не понимают. Китай ужасно силен, и корень этой силы – в простоте. Если это понять, многое сразу прояснится. У меня, например, есть друзья – молодые китайцы, очень современные и тонкие, везде бывали, с западным образованием, но все равно они остаются носителями китайскости, и их отношения со мной, с родителями, с другими китайцами не сильно отличаются от тех, что были тысячу лет назад. Эти корни не уничтожить.

Мне часто кажется, что Китай похож на огромный дуб. Если посмотреть на дуб, то под землей у него будет еще один дуб, потому что корневая система не уступает по мощи стволу и ветвям. В Китае раз в двести или триста лет случается какой-нибудь кошмар и гибнет половина населения, но корни остаются целыми.

Мало кто знает, что сейчас в Китае больше буддистов или христиан, чем членов Компартии: одних христиан сто миллионов, а коммунистов всего семьдесят. Или можно вспомнить

возрождение китайской средневековой оперы Кунъюй. Сейчас китайская культура и искусство, возможно, сильнейшие в мире. И все это произошло за сорок лет после смерти Мао. Конфуцианство довольно популярно. Мао хотел «сокрушить четыре пережитка», а для этого убить достаточно людей и сжечь библиотеки. Но случилось, как в «451 градусе по Фаренгейту»: эти книги жили в сердцах людей.

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
АЛАН МАКФАРЛЕЙН

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОЛДОВАННЫХ
МОДЕРНОСТЕЙ

Р.М.: Некоторые антропологи – например, Джек Гуди – полагали, что Китай не так уж сильно отличается от Запада. Вы же говорите, что разница кардинальна, не так ли?

А.М.: Джек Гуди оказал на меня большое влияние. Он был моим наставником, другом и чуть ли не отцом, даже покровителем – именно через него я нашел свою первую работу. Я безмерно уважаю Джека. К сожалению, он умер несколько лет назад. С ним произошла странная перемена, когда ему было 82: он вдруг поменял свою точку зрения на Восток. Тому было несколько причин.

Он заинтересовался антропологией, когда сидел в лагере для военнопленных. Там он прочитал две книги – «Золотую ветвь» Фрэнзера и «У истоков европейской цивилизации» Гордона Чайлда. Чайлд был археологом и марксистом и считал, что пять тысяч лет назад случился панъевразийский феномен – бронзовый век. То есть тогда не было водораздела между востоком и западом Евразии. На Джека эта идея сильно повлияла. Если взять текст Чайлда, то там о Китае от силы два параграфа – не было там тогда археологии. Он просто сказал, что бронзовый век и там, и там протекал весьма похоже. Джек же понял это так, что корни у этих двух систем близки.

В 1980-е Джек очень критически отнесся к триумфализму в духе «Запад круче всех» – например, в книге «Европейское чудо» Эрика Джонса. Тогда многие разделяли довольно резкую идею Вебера о том, что современное индустриальное общество возможно только на Западе, потому что оно основывается на протестантизме. Маркс то же самое говорил – что с азиатским способом производства невозможно построить современное общество. Получалось, что Восток отстал в развитии, тогда как на Западе наступили новые времена. Джек считал, что это ерунда, и был совершенно прав.

Особенно ясно он понял это в 1980-е. До этого можно было говорить: может, и ерунда, но ведь все сходится! Восток не развивается. Есть Гонконг, Сингапур или Япония, но это скорее исключения. В Китае же все плохо! В Индии – кошмар! Но Джек тогда увидел, что в Китае и Индии не такой уж и кошмар. А идея, что Запад особенный, неправильная. Он написал



об этом четыре или пять книг, в которых говорит: посмотрите, они делают то же, что и мы; мы все одинаковы.

Как раз тогда появилась Калифорнийская школа, а именно, человек по имени [Кеннет] Померанц и некто Бинь Вон. Померанц написал книгу «Великая дивергенция» (2000), в которой утверждал, что Запад и Восток были похожи года до 1820-го. А потом они разошлись из-за двух факторов. Первый – уголь, который был в Европе, но не в Китае (что, конечно, неправда), вторая – колонии, которые были у Европы, но не у Китая (что опять же полная ерунда). Эти работы стали весьма популярными и отчасти были реакцией на западный триумфализм.

Джек все понимал правильно, но немного перегнул палку. Когда я встречаюсь с поклонниками Джека и спрашиваю: «А как вам его последние книги?» – они отвечают: «А мы их не читали». Когда я задаю тот же вопрос специалистам по Китаю, они говорят: «Мы такого стараемся не читать».

У Джека вся тонкость в использовании строчных и прописных букв. Он говорил: посмотрим на экономику на Западе и Востоке. По сути, это одинаковые системы, построенные на стремлении к прибыли, торговле, рынку, деньгах и так далее. Если написать «экономика» со строчной буквы, получится все по Веберу: ничего особенного в капитализме нет. Все мы капиталисты. Но если написать «Экономика», имея в виду институционально оформленный процесс в смысле Карла Поланьи, то в Китае она совсем другая, она встроена в политические и социальные структуры и работает совершенно иначе. Да, деньги, прибыль, производство и обмен там тоже есть, но исторически они по-другому организованы. Это все равно, что сказать, что коммунистическая и капиталистическая экономики одинаковы, потому что и там, и там есть фабрики.

Джек повторил тот же трюк с семьей, с религией. Вроде бы нуклеарная семья на Западе и Востоке одна и та же: размер домохозяйства примерно совпадает. Но ведь нельзя забывать об отношениях между братьями в Китае, о клановых структурах, о разнице в построении генеалогии – по мужской линии или по обеим. Все, что объяснял и проповедовал Джек, оказалось односторонней попыткой уподобить их нам.

К счастью, он иногда писал в книгах, что его друзья с ним не согласны. Он был вежливым человеком, никогда не вступал со мной в конфронтацию. А я его не критиковал, пока он был жив. Мне и сейчас не хочется, потому что я понимаю, почему он писал то, что писал. Но я думаю, он заблуждался. Он даже Вебера не очень понимал. Он его критиковал, но поверхностно, не зная его глубоких исследований о религии в Китае.

Перевод с английского Ольги и Петра Серебряных